

Тем не менее будущее советской семьи, перспективы ее перерастания в семью коммунистическую, которое будет новым качественным скачком в историческом развитии семьи, обеспечены всеми теми большими успехами, которые достигнуты в брачно-семейных отношениях при социализме и которые так глубокого и обстоятельно исследованы А. Г. Харчевым.

Рецензируемая книга, несомненно, будет встречена с большим интересом не только широким кругом специалистов-социологов, историков, этнографов и др., но и массовым читателем.

С. Абрамзон, Н. Кисляков

НАРОДЫ СССР

В. П. Аникин. *Русский богатырский эпос*. Пособие для учителя. Изд. «Провешенне», М., 1964, 191 стр.

Рецензируемая книга хорошо выполняет свое назначение — помогать в преподавании фольклора педагогам-словесникам. Написанная живым, художественным языком, с подъемом, и в то же время аналитически прослеживающая основные закономерности эпоса, идеи и сюжеты русских былин, она вводит педагогов (а может быть, и учеников старших классов?) в атмосферу фольклора, способна увлечь их.

Разработка методики изучения эпоса в историческом плане в настоящее время — одна из первоочередных задач в фольклористике. Наиболее ценен в книге четкий принцип историзма, стремление приурочить эпос к определенным эпохам. «Наше отношение к былинам, — пишет автор, — наполняется особым смыслом, когда уясняются исторические условия, при которых на Древней Руси возникал эпос» (стр. 5).

В развитии русского эпоса автор различает четыре основных периода: «мифологический», киевский, владими́ро-суздальский и московский. В исходный период (IV—IX вв. н. э.) «эпическая песня», возникнув, продолжала, как пишет автор, «художественные традиции древнейшей мифологии, и воспроизвела в своих образах социальные устремления народа в новую историческую эпоху, наступившую с началом разложения первобытнообщинных порядков» (стр. 25) и становлением классово-антагонистических отношений. «Смысл общих изменений (в этот период.— Р. Л.) условно может быть назван историзацией прежних традиций» (стр. 79). В последующий период (с X в. по вторую половину XII в.) наиболее ярко проявился «особенный историзм, который прищущ всем киевским былинам» (стр. 71). Третьему периоду — владими́ро-суздальскому (с середины XII по вторую половину XIV в.) автор придает чрезвычайно большое значение в истории развития эпоса. В московский период (вторая половина XIV — начало XVII в.), по мысли В. П. Аникина, «новые былины не возникали, но имела место творческая обработка прежде созданных применительно к историческим условиям Московской Руси» (стр. 23).

Самое пристальное внимание в книге уделено третьему периоду. Мысль о связи между усилением Северо-Восточной Руси как государственного образования в XII в. и появлением в эпосе героев — выходцев из Ростова, Муром, Рязани, однако изложена слишком категорично. Так, центральный в русском эпосе образ Ильи едва ли мог возникнуть только в этот период, тем более, что по известным свидетельствам XVI в., приводимым и автором, он наделялся еще тогда прозвищем Муравленин (у Кмиты Чернобыльского) или Моровлин (у Ляссоты), а не Муромец; даже в записях XVII в. упоминается город Муром наряду с Муромом. Попытка В. П. Аникина связать прозвище Муравленин с «муравленной» печью, на которой сидел Илья до своего богатырства (стр. 110), конечно, звучит натяжкой.

Автор пытается аргументировать свою концепцию и тем, что Суздальская Русь считала себя преемницей Киевской, и поэтому поместила своих эпических героев при дворе киевского князя. Однако областная принадлежность этих героев может трактоваться иначе: с одной стороны, как более поздние черты, наслонившиеся на основу эпоса, которая сложилась, действительно, при Владимире I, а с другой, как отражение процесса концентрации воинов из разных земель Руси в южнорусских укреплениях, построенных Владимиром. Последнее и составляет открытие Б. А. Рыбакова, связавшего эту пестроту состава защитников крепостей (сказавшуюся в их погребениях) с происхождением эпических богатырей из разных княжеств Руси¹.

¹ См.: Б. А. Рыбаков, *Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи*, М., 1964, стр. 61—62, 72—73.

Сама мысль В. П. Аникина о влиянии расцвета Северо-Восточной Руси на формирование русского эпоса не нова (об этом писали в свое время и О. Ф. Миллер², и А. Н. Веселовский³ и др.), хотя, несомненно, автор и пришел к ней самостоятельно.

Более оригинальна его мысль о суздальских версиях былин, которые он находит даже в локально замкнутом новгородском эпосе. Суздальской ему представляется та версия Садко (по варианту из сборника Кириши Данилова, составленного на северо-востоке страны), где молодец с Волги становится победителем Новгорода в богатстве, в противовес основной новгородской версии о победе над Садко Господина Великого Новгорода⁴. «Такая версия былины,— пишет В. П. Аникин,— могла исходить лишь из Северо-Восточной Руси, приобретшей к тому времени великое княжение в Киеве и в итоге длительной борьбы поставившей Новгород в зависимость от себя» (стр. 140—141).

Есть в книге упоминания и о галицкой струе в былинах, и о новгородской. «Только приняв во внимание областные формы эпического творчества,— настаивает автор,— можно попытаться в целом охарактеризовать процессы, происходящие в эпическом фольклоре» XII—XIV вв. (стр. 123).

Своеобразно предположение В. П. Аникина, что основной конфликт былины об Илье Муромце и Соловье Разбойнике — необходимость уничтожить помеху для свободного сообщения между русскими землями — связан с племенем голядь (возможно, литовским), жившим в XI—XII вв. в Брыньских лесах и долго отстаивавшим свою независимость и землю. «Птичий облик» Соловья он сопоставляет с развитым культом лесных птиц у литовских племен, отраженным в их фольклоре: «Такое обилие птичьих пород, обращенных в сказочных героев, знают немногие из сказок европейских народов» (стр. 93—95).

В. П. Аникин твердо стоит на правильной позиции создания ядра былин в домонгольской Руси. Поэтому неожиданным кажется утверждение автора, что в «эпоху татарщины» былины якобы «напоминали о горьком историческом опыте разгромленного Киевского государства», в чем и состояло тогда их «общественное назначение» (стр. 112). Но Киев в былинах никогда не разгромлен, да и русские богатыри в конечном счете поражения не терпят, кроме былины «О Камском побойще», на которую ссылается Аникин, издавна вызывающей сомнения в подлинности и введенной в научный оборот поэтом Меем. В период монголо-татарского завоевания идейная функция былин, как принято в науке, заключалась в обратном — в воспоминании о непобедимости и мощи русского государства в прошлом.

Считая неверным прочно установившееся мнение наиболее выдающихся ученых XIX и XX вв. о замене в эпосе образов древних кочевников — печенегов и половцев — татарами, автор книги находит достаточным (по поводу былины об Илье Муромце и Калине) отделаться одной фразой: «Все эти догадки мало вероятны и должны быть отвергнуты» (стр. 106).

Трудно согласиться с автором и в том, что былина о Дюке «частично удовлетворяла потребность в социально острых произведениях, направленных против господ» (стр. 127), в том числе — против великого князя. Что же Дюк — в самом деле был «бурлак», как он называет себя в одном варианте, а не «дюк» — герцог, богач?

Справедливо утверждение автора о решающем значении идейного смысла произведения или жанра в целом для его хронологизации («идея былины — важнейший и решающий критерий историческо-хроникального и местного приурочения всякой эпической песни», стр. 128) и о невозможности ограничиваться поисками прототипов или черт материальной культуры («имена и прочие реалии имеют силу только при верном истолковании сюжетно-повествовательной основы былины, ее исторического смысла», стр. 21). Однако и пренебрегать изучением историко-бытовой обстановки в былинах как одним из средств их хронологизации тоже нельзя. Свидетельства археологии и древнерусской письменности должны бы убедить автора книги, что далеко не все в эпосе — «поэтизация бытовой реальности», «идеальное изображение... богатых доспехов, одежды, жилища и пр.» (см. стр. 175).

² По мнению О. Ф. Миллера, в Суздальской Руси «совершались первые, сколько-нибудь удачные попытки государственного объединения... Понятие о единстве земли едва ли могло сказаться в эпосе ранее суздальского периода, внешними следами которого в нем остались и некоторые названия местностей... Первоначально сложившись около Киева, эпос вместе с позорищем исторической жизни был, надо думать, перенесен в Русь Суздальскую... В суздальский период нашей истории могло совершиться слияние и объединение двух, и даже более чем двух местных былевых кругов, и вот тут-то должен был получить дальнейшее свое историческое развитие и самый образ Ильи» (О. Ф. Миллер, *Илья Муромец и богатырство Киевское*, СПб., 1869, стр. 809—810).

³ См.: А. Н. Веселовский, *Русский эпос и его новые исследователи*, «Вестник Европы», 1888, т. IV, кн. 7, стр. 152—153; 155—156.

⁴ Точнее, добавим от себя, о победе новых форм корпоративной торговли, вырабатанных в Новгороде в XII в., над одиночкой-купцом.

Между тем бытовую сторону былин он вообще почти игнорирует и ограничивается декларативным замечанием, что «в течение своей долгой жизни былина вбирала в себя все новые и новые художественные украшения». Автор повторяет в отношении былины о Дюке положение С. К. Шамбинаго о поздней хронологизации эпоса («Исследователи бытовой основы эпоса находят в ней отражение роскоши, одежд и обычаев боярской Москвы XVI—XVII вв.», стр. 127), все более опровергаемое конкретным и многосторонним изучением в наше время культуры Древней Руси. Неясно, считает ли автор, что бытовая обстановка домонгольской Руси в былинах должна была полностью испариться? Во всяком случае, значение «обработки» в этом отношении в московский период он сильно преувеличивает.

В. П. Аникин, стремясь раскрыть и поэтику былин в историческом аспекте, рассматривая былины не как сухой документ, а как художественное произведение, высказывает ряд свежих и важных мыслей. Он предостерегает об опасности впасть в схематизм при изучении эпоса, если допустить отрыв от конкретного, полноценного текста, от исторической среды, в какой эпос слагался: «Отвлеченное толкование поэтики подает руку формализму» (стр. 168). Он протестует против «удручающе простых формул» (стр. 167), к которым сводят иногда мотивы былин: «Сюжет — категория историко-социальная, взятая во всей полноте и конкретности своих качественных идейно-эстетических признаков; и только при этом понимании оправдано употребление этого понятия, как и понятия мотива» (стр. 20). Он доказывает, что композиция былин не единообразна и косна, а соответствует сюжету и его идейной нагрузке, как и «традиционные места» (*loci communes*), которые не изначальноны в эпосе, а складываются в разные исторические периоды (стр. 172—173).

В то же время автор сам иногда относит за счет поэтических приемов эпоса и прямое отражение исторических ситуаций. Как простой пример гиперболизации он приводит ужасающую картину нашествия в былинах: «Враг жжет города, вырубает все их население, «спускает» на дым постройки и дома, вытаптывает поля» (стр. 174—175). Раскопки некоторых древнерусских городов подтвердили, что поголовное истребление населения завоеванных городов, в особенности — оказывавших упорное сопротивление, и опустошающие пожары были реальным фактом русского средневековья!

Местами автор не может удержаться от соблазна лепить основной сюжет при его пересказе и строить обобщения, привлекая единичные варианты, и этим дезориентирует обширную аудиторию, на которую рассчитана книга. Так, он сообщает, что Василий Игнатьевич — «малолеток-богатырь», тогда как обычно он — закоренелый пьяница (стр. 108), что Вольга назначил Микулу наместником в полученных городах, а сам он — дядя Владимира (стр. 130—131), что Илья Муромец «получил от князя в подарок худую шубу, оставшуюся после смерти Дуная» (стр. 99) и т. п. По-видимому, обмолвку автора представляет наименование былинного Ставра «сотским», тогда как только в летописи упомянут Ставер — «сотский» и безоговорочно отождествлять их все же нельзя (см. стр. 133).

Напряженный интерес автора к историзму эпоса вызвал его особое внимание к книге Б. А. Рыбакова «Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи» (М., 1964), богатой фактическим материалом и широкими историческими обобщениями, в которой дан, говоря словами Аникина, «солидный историко-бытовой комментарий к былинам» и предложено новое толкование ряда сюжетов и образов (см. стр. 4). Однако, увлекшись развернутой полемикой с отдельными высказываниями Б. А. Рыбакова, автор ломает этим в известной мере профиль собственного труда, заставляя читателей-педагогов, для которых предназначена в основном книга, делать по существу самим выбор в противоречивых оценках тех или иных явлений фольклора, а это требует специальных и нередко очень глубоких знаний. Нельзя не отметить в то же время, что ознакомление учительской аудитории с последними событиями в науке само по себе, конечно, ценно, как и быстрый отклик автора на книгу, составившую, несомненно, этап в современной советской фольклористике.

Автор не засушивает изложения, дает запоминающиеся образные формулировки, например: «Былины до краев наполнились звоном воинской славы Киевской Руси» (стр. 78). К сожалению, ему свойственна некоторая торопливость при передаче богатого запаса мыслей и образов. Мелькают выражения вроде «гигантские исполины» (стр. 28), «уравновешенность, которая сопутствует рассуждению зрелого ума» (стр. 99), «смести до основания всех господ» (стр. 102); неуместно звучат отдельные фразы: «как Садко ни ловит, жребий падает на него» (стр. 141), «облик Калина-садиста» (стр. 109).

Главное же, недостаточно четки дефиниции и формулировки автора, относящиеся к области этнографии: «восточнославянская эпоха» (стр. 11), «местная часть русского народа» (стр. 124), «социально-общественное и народно-этническое развитие» (стр. 81) и др. Не всегда точно уловлена семантика слова, например: «Эту рыбу он, царь, пошлет Садко в тоно — сеть» (стр. 138), — но тоно может означать или береговой участок, с которого производится лов, или однократный акт закидывания и вытягивания невода, но не орудие лова.

Окаменевшие люди (а не «каменные», как пишет автор) были известны в веро-

ваниях и фольклоре не только «некоторых сибирских народов» (стр. 28), но и других народов на территории России — на Кавказе, у саамов и пр., а также и всего мира. Неоправданно противопоставление Святогора, якобы символизирующего «бесплодную непроизводительность горных пород», богатырям-земледельцам (стр. 29). Земледелию исторически противостоят собирательство, охота — вообще другие древние формы хозяйства, а не горы сами по себе; да и не все горы бесплодны.

Библиографический перечень по русскому эпосу в конце книги (стр. 180—188) подобран не шаблонно и довольно полон, но порядок, принятый автором, слишком условен («Научные сборники», «Антологии», «Исследования и учебные пособия», «Библиографические указатели»). Тематический принцип или более принятый хронологический или алфавитный был бы более удобен. Нет и указателя сокращений для подстрочных примечаний, а он сэкономил бы место и избавил читателей от поисков первого, полного упоминания названия в сносках.

Вероятно, было бы целесообразно дать в приложении к книге примерную схему распределения материала былин по школьной программе.

В целом же книга исследователя, самостоятельно разрабатывающего ряд важных проблем фольклористики, поможет укреплению фронта изучения русских былин в историческом аспекте, которое уже ведется совместными силами специалистов всех смежных наук — фольклористов, историков, лингвистов и археологов.

Р. Лунец

А. Моора. *Peipsimaa etnilisest ajaloost*. Tallinn, 1964, стр. 368.

Книга А. Моора «Очерки этнической истории Причудья» сразу привлекла внимание историков, этнографов и лингвистов. Это естественно уже потому, что работа посвящена такой мало исследованной территории, как Причудье. Хотя имеется немало статей, касающихся различных сторон истории Причудья, оно до сих пор ни разу не было объектом серьезного исследования. Несомненно, проблемы этнической истории Причудья очень сложны и требуют привлечения материалов ряда смежных дисциплин, что по силам далеко не всем исследователям.

В настоящей книге рассмотрена в основном только северная и северо-западная часть Причудья (бывшие приходы Исаку, Торма, Кодавере). Восточного побережья автор касается только бегло, а юго-западными районами вообще не занимается. Выделение северного Причудья в качестве отдельной территории совершенно правомерно, так как история этой области, культурные связи с соседями, хозяйственные занятия населения и многие другие конкретные условия его существования отличны от таковых в восточных и юго-восточных районах Причудья.

Автор исследования ставит своей задачей осветить историю заселения Причудья и проанализировать факторы, влиявшие на формирование взаимосвязей и взаимоотношений финноязычного (в первую очередь эстонского) и русского населения на этой территории.

Работа написана на очень обширном и разностороннем материале. Во-первых, это полевые материалы самого автора, многие из которых появляются в печати впервые и представляют большую ценность. Естественно, что широкие хронологические рамки исследования потребовали привлечения археологических и архивных источников, использована и имеющаяся литература вопроса. Анализ источников проведен автором очень тщательно и во многих случаях может служить образцом того, как при весьма скудных сведениях рассмотрение их под различными углами зрения дает богатую информацию.

Книга А. Моора подразделяется на две части: во II—V главах рассматривается история населения Причудья с первого тысячелетия н. э. до XX в., а главы VI—X посвящены хозяйственным занятиям населения этой территории. Всей книге предпослана глава I, в которой даны характерные черты географической среды Причудья. Эта глава является необходимой частью работы, так как природные условия, прежде всего климат и почвы этого района, оказали во многом определяющее влияние на его экологию, а следовательно, и быт местного населения.

Анализ состава местного населения А. Моора начинает с первого тысячелетия н. э., рассматривая и систематизируя имеющиеся в настоящее время археологические материалы. На основе их она приходит к выводу, что в эстонское Причудье с востока проникли две большие волны переселенцев: первая относится ко второй половине первого тысячелетия н. э. Она состояла из славян и значительного водского элемента и осела в основном на западном побережье Пейпси. Вторая, в которой явно преобладал славянский элемент, в XII—XIII вв. прошла в северные малозаселенные лесные области Причудья. В составе жителей Причудья первое переселение оставило большой след. В результате в XIII в. территория, специально интересующая автора, в восточной части была заселена преимущественно русскими, северное Причудье (Алутагусе) — обрусевшей волью и русскими, в западной части — эстонцами с примесью водского населения. Самое побережье Чудского озера оставалось незаселенным.